
18+
Василий Попков
ТАЙНА ЯНТАРНОЙ КОМНАТЫ

Василий Попков

Тайна янтарной комнаты

«Издательские решения»

Попков В.

Тайна янтарной комнаты / В. Попков — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-694606-4

Осень 1944-го. Медсестра Анна узнаёт от умирающего разведчика о списке предателей, помогавших гитлеровцам вывезти Янтарную комнату. Вместе с лейтенантом Марком она отправляется в блокадный Ленинград, чтобы найти тайник в руинах Екатерининского дворца. За ними охотятся и бандиты, и СМЕРШ. Среди обгоревших стен, под пулями и снегом, рождается любовь — хрупкая, но способная выстоять в аду войны.

ISBN 978-5-00-694606-4

© Попков В.
© Издательские решения

Содержание

ПРОЛОГ 6
ГЛАВА 1. НОЧНАЯ СМЕНА 9
ГЛАВА 2. ЛЕЙТЕНАНТ С «РАЗВЕДКОЙ» В ПЕТЛИЦАХ 20
ГЛАВА 3. ТОТ, КТО ПРИШЕЛ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ 31
ГЛАВА 4. ШЕПОТ В БРЕДУ 35
ГЛАВА 5. «ОСОБИСТ» ИЗ НИОТКУДА 43
ГЛАВА 6. ВТОРОЕ СВИДАНИЕ 51
Конец ознакомительного фрагмента. 52

Тайна янтарной комнаты

Василий Попков

© Василий Попков, 2026

ISBN 978-5-0069-4606-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ПРОЛОГ

Ленинград, февраль 1942 года

Он умирал не в первый раз.

Первая смерть пришла к нему под Вязьмой, когда осколок мины вспорол живот замполиту, и тот полз два километра по снегу, таща за спиной ящик с дисками, а потом умер у него на руках, успев сказать: «Держись, лейтенант». Вторая смерть накрыла его в болотах под Старой Руссой, когда он тонул в ледяной жиже и уже прощался с жизнью, но санитары вытащили, откачали, отправили в тыл.

Третья смерть была здесь, в промерзшем Ленинграде, в квартире на канале Грибоедова, где пахло коптилками и трупным холодом, а за окнами выли метели и немецкие снаряды.

Он лежал на полу, привалясь спиной к обледенелой стене. Дыхание вырывалось белым паром. Китель на груди взмок от крови – той, что успела вытечь, и той, что еще оставалась внутри, но уже не грела. Рядом сидела женщина. Не жена – жена осталась в эвакуации, он давно потерял ее след. Не медсестра – те, кто мог помочь, остались в госпиталях, заваленные ранеными под завязку. Просто соседка, тетя Паша, которая пустила его переночевать в пустующую комнату, потому что у него не было сил идти дальше.

– Ты помрешь, парень, – сказала она просто, без жалости. Жалость в блокаду отмерла первой.

– Знаю, – ответил он.

Он знал это уже три дня, с того момента, как осколок достал его при разгрузке баржи на Неве. Рана была пустяковой, но заражение пришло быстро – голодный организм не боролся, он сдавался. И сейчас, на полу чужой квартиры, он чувствовал, как уходит тепло, как немеют пальцы, как сердце бьется все реже, словно часы с заведенным на сутки механизмом.

– Дай бумагу, – попросил он.

Тетя Паша молча принесла клочок газеты, огрызок карандаша. Он писал долго, криво, буквы расползались, как тараканы по стене, но он очень хотел успеть. Должен был оставить это тому, кто придет следом.

Список.

Он перечислял имена тех, кто не умер. Тех, кто выжил, потому что помогал немцам. Тех, кто указывал дорогу к тайникам с музейными ценностями, кто грузил ящики с янтарными панно в эшелоны, отправляющиеся в Кенигсберг. Тех, кто получал за это паек и право ходить по улицам, не опуская глаз. И тех, кто сидел сейчас в штабах, писал доносы на соседей и ждал, когда Красная армия освободит город, чтобы снова стать «своими».

Он написал сорок семь фамилий. Некоторых он знал лично. Некоторых только видел в лицо. Но каждую фамилию он проверил, каждый факт подтвердил ценой чужой крови и собственной жизни.

– Спрячь, – прошептал он, протягивая бумагу тете Паше. – Спрячь глубоко. Никому не говори. Когда наши придут – отдай тому, кто спросит «Где икона?».

– Где? – переспросила женщина.

– Скажи… во дворце. В кабинете. Под полом. Пусть найдут. Там все.

Она взяла бумагу, сунула за пазуху. В глазах у нее не было слез – они высохли еще в декабре, когда она хоронила мужа в братской могиле на Пискаревке.

– Как тебя звать-то? – спросила она.

– Не важно, – ответил он.

Это была неправда. Важно. Все имена важны. Но он уже не мог говорить – дыхание остановилось, перехватило горло ледяным спазмом. Он смотрел в потолок, где плясали тени от коптилки, и видел не черные балки, а янтарное солнце. Огромное, теплое, живое, которое он видел ребенком в Екатерининском дворце, когда мать водила его смотреть на диковинную комнату, где стены светились медом и золотом.

Солнце погасло.

Тетя Паша просидела рядом до утра, держа его за остывающую руку. Потом завернула тело в простыню, стащила вниз по лестнице, положила в штабель таких же тел у парадной. Их вывозили раз в неделю, когда собиралось достаточно.

Никто не спросил, кто он и откуда. В блокаде не спрашивали.

Список остался лежать у нее за пазухой, прижатый к сердцу, которое еще билось.

И пролежал там почти два года.

Октябрь 1944 года. Карельский перешеек

Анна не знала, что везет страшный список в кармане телогрейки тети Паши, когда перевязывала легкораненого лейтенанта с серыми от усталости глазами. Не знала, что этот клочок бумаги свяжет её и лейтенанта крепче любых уз. Не знала, что через неделю она передаст его этому лейтенанту, а через месяц поедет за ним в Ленинград, где их будут ждать пули, предательство и любовь, которая выживает только в аду.

Она просто делала свою работу.

В кармане телогрейки у нее лежал список.

Список тех, кто продал Янтарную комнату.

Из донесения СМЕРШа, март 1945 года:

«…в ходе розыскных мероприятий установлено, что в период оккупации г. Пушкина группа лиц из числа местных жителей и музейных работников оказывала содействие немецко-фашистским захватчикам в демонтаже и вывозе культурных ценностей Екатерининского дворца, включая Янтарную комнату. Полный список предателей, составленный агентом „Скиф“, погибшим в феврале 1942 года, до настоящего времени не найден. Предположительно, он находится на территории г. Ленинграда или его пригородов. Розыск продолжается…»

ГЛАВА 1. НОЧНАЯ СМЕНА

Октябрь 1944 года. Карельский перешеек, неподалеку от Выборга

Холод просыпался раньше нее.

Анна открыла глаза за минуту до того, как дребезжащий звонок штабного телефона разорвал тишину сестринской. Так бывало всегда – словно внутри поселился какой-то чуткий зверек, который знал войну лучше любых часов. Она не стала ждать второго звонка. Скинула с себя тяжелое солдатское одеяло, нашарила ногами кирзовые сапоги – за ночь они промерзли насквозь, и ступать в них было все равно что в ледяную воду.

– Встаю, – сказала она в пустоту.

Никто не ответил. Вторая сестра, Зина, спала на соседней койке, уткнувшись носом в подушку и поджав ноги к животу – даже во сне она пыталась сохранить тепло. Зине было девятнадцать, и она все еще верила, что война кончится завтра. Анна в свои двадцать два такой глупостью уже не страдала.

За окном сестринской было черно, хоть глаз выколи. Октябрь на Карельском перешейке выдался ранним и злым – снег выпал еще в конце сентября, потом растаял, потом выпал снова и теперь лежал намертво, перемешанный с грязью и ржавой хвоей. Где-то далеко, за лесом, глухо ухали пушки. Наши били. Или финны. Анна давно перестала различать – звук был одинаковым, и одинаково хотелось, чтобы он замолчал навсегда.

Она натянула поверх гимнастерки застиранный халат, застегнула пуговицы непослушными пальцами. В сестринской было градусов пять, не больше – финская печь-голландка, которую топили чем попало, грела ровно до тех пор, пока не прогорали дрова.

Звонок повторился. Анна вышла в коридор.

Бывшая финская школа, в которой развернули медсанбат, была построена основательно – стены толстые, потолки высокие, окна-бойницы. Финны знали толк в том, чтобы выживать в холоде. Теперь здесь выживали мы. В классах стояли койки, в учительской оперировали, в спортзале разместили самых тяжелых. Пахло йодом, карболкой, щами из концентратов и еще чем-то сладковато-тошнотворным, к чему Анна так и не смогла привыкнуть за два года – гниющей плотью.

Телефон висел на стене в конце коридора. Анна сняла трубку:

– Медсанбат, дежурная сестра.

– Три машины через двадцать минут, – голос из трубки был прокуренным и равнодушным, такие голоса бывают только у штабных писарей, которые сами никогда не видят крови. – Восемнадцать человек. Семеро тяжелых.

– Поняла.

Она положила трубку и на минуту прижалась лбом к холодной стене. Восемнадцать человек. Семеро тяжелых. Это значит – снова резать, снова зашивать, снова вытаскивать с того света тех, кого уже через месяц пошлют обратно в мясорубку. Или не вытаскивать. И смотреть, как они угасают на твоих руках, хватая ртом воздух и глядя куда-то внутрь себя, туда, где уже нет боли.

«Не думай, – приказала она себе. – Работай».

Она прошла в операционную – бывший кабинет директора, где все еще висела финская карта с непонятными надписями и портрет какого-то президента в смешной шапочке. Хирург Кравцов уже был здесь. Он всегда был здесь, словно вообще не спал. Сидел на табурете, курил в форточку и смотрел в темноту.

– Слышали, Иван Сергеевич? – спросила Анна, зажигая спиртовку. Спички в коробке были сырыми, пришлось чиркать три раза.

– Слышал. – Кравцов не обернулся. – Готовьте стол.

Ему было тридцать два, и все сестры в медсанбате были в него влюблены по уши. Высокий, худой, с длинными пальцами музыканта и глазами человека, который видел слишком много, чтобы улыбаться просто так. Зина говорила: «Он как артист из кино, только наш». Анна не спорила. Кравцов и правда был красив той особой, выжженной красотой, которая появляется у людей, ежедневно смотрящих смерти в лицо. Но сама Анна к этой влюбленности не присоединялась. Она давно поняла: на войне нельзя привязываться к тем, кто может не дожить до утра. А хирурги не доживали чаще других – их берегли, но осколок или шальная пуля не спрашивают, кто ты.

Зашла тетя Паша, старшая медсестра. Пятьдесят лет, из них тридцать в медицине. Маленькая, сухая, с руками, которые знали наощупь каждую мышцу, каждую кость. Она глянула на Анну цепким взглядом:

– Опять не спала?

– Высплюсь после войны.

– Все так говорят, а после войны седые ходим. – Тетя Паша подошла к шкафу с инструментами, начала перебирать – чего хватит, чего нет. – Иглы есть? Кетгута сколько?

– Две упаковки, – Анна знала это наизусть. – Игл пять, три уже тупые.

– М-да. – Тетя Паша покачала головой. – Ладно, Кравцов у нас виртуоз, он и тупой иглой пришьет. Главное, чтобы нитки были.

Анна кивнула. Она давно привыкла к этому страшному цинизму – без него было не выжить. На гражданке тетя Паша была заведующей отделением в обычной больнице, писала научные статьи и, наверное, носила белые кружевные воротнички. Всю блокаду она провела в своей больнице, вытаскивая с того света тех, кого было можно. А теперь продолжала свое дело здесь, на Северном фронте. Здесь она материлась как сапожник, курила махорку и могла переругаться с любым начальником, если дело касалось раненых.

– Я пойду встречу, – сказала Анна.

– Иди. – Тетя Паша уже раскладывала инструменты. – Зину буди.

Зина спала так крепко, что пришлось трясти за плечо минуты две. Открыла глаза, испуганно заморгала:

– Что? Уже? Сколько?

– Четыре утра. Машины идут.

Зина села, провела ладонью по лицу, разгоняя сон. Она была хорошенькой – круглое лицо, ямочки на щеках, светлые кудряшки, выбивающиеся из-под косынки. Таких девчонок война должна была обходить стороной, но не обходила.

– Опять тяжелые? – спросила Зина, натягивая халат.

– Семеро.

– Господи…

– Бога оставь, – оборвала Анна, но без злости. – Работать надо.

Они вышли на улицу. Мороз щипал щеки, под ногами хрустел наст. Небо было черным, звездным, равнодушным. Где-то далеко полыхали зарницы – там тоже стреляли, там тоже умирали. Анна подумала: интересно, видят ли эти звезды, что мы тут делаем? Или им все равно?

Дорога, ведущая к медсанбату, была разбита вдрызг – гусеницы, колеса, взрывы. Машины шли по ней, переваливаясь с боку на бок, и каждый раз, слыша далекий гул мотора, Анна внутренне сжималась. Кого привезут сегодня? Молодого или старого? Сознательного или без сознания? Кто умрет у нее на руках?

Первая машина показалась через десять минут. Полуторка с потушенными фарами, на подножках висят санитары. Подъехала к самому крыльцу, затормозила с визгом. Из кузова понеслись стоны – глухие, сдавленные, страшные.

– Носилки! – крикнула Анна.

Дальше была работа, которую она ненавидела и без которой уже не могла жить. Носилки, лица, руки, бинты, кровь. Кровь везде – на шинелях, на лицах, на носилках, на снегу, который тут же таял от тепла. Анна пробегала мимо, оценивала взглядом, сортировала: этого в операционную, этого в перевязочную, этого – в коридор, подождет, этот – уже не дождался, этот – еще успеем, если поторопиться.

Она запомнила их всех. Не имена – их сообщат потом, из документов. Лица. Молодое, без усов, парнишка лет восемнадцати, сжимает окровавленный бинт на животе и шепчет: «Сестричка, не дай помереть, мамка одна, я у нее один…» Другой – пожилой, с седыми висками, молчит, только смотрит в небо остановившимися глазами, и Анна знает этот взгляд – контузия,

человек сейчас не здесь, он где-то далеко, и хорошо, если вернется. Третий – в бреду, мечется, кричит: «В атаку, братцы, за мной!» – и санитары еле держат носилки.

Семеро тяжелых. Восемнадцать всего. Она считала автоматически, как кассир в магазине считает сдачу. Пятеро – сразу на стол. Двое – в очередь, подождут, пока Кравцов освободится. Остальные – в палаты, перевязки, уколы, и чтобы к утру все было готово к отправке в тыл.

– Анна! – крикнул кто-то. – Помоги здесь!

Она побежала на голос.

В операционной горел яркий свет – единственная лампочка под потолком и две керосиновые лампы на всякий случай, если свет погаснет. Кравцов уже стоял у стола, над первым раненым. Тот самый молодой парнишка. В животе у него зияла рваная рана, и Анна, взглянув, поняла: не жилец. Осколок прошел навылет, зацепил все, что мог зацепить.

– Что стоишь? – Кравцов не повышал голоса, но от этого его слова звучали еще страшнее. – Инструмент!

Анна подала. И пошло: зажимы, тампоны, салфетки, снова зажимы. Кровь хлестала так, что не успевали убирать, руки скользили, тетя Паша подавала иглу за иглой, Зина держала лампу, и лицо у нее было белое, как мел.

– Держится? – спросил Кравцов у кого-то невидимого. Анна поняла: у себя самого.

– Давление падает, – сказала она, глядя на то, как медленно, слишком медленно поднимается ртутный столбик тонометра.

– Вижу.

Он работал молча, сосредоточенно, и Анна смотрела на его руки – длинные пальцы двигались быстро и точно, словно не в человеческом нутре копались, а часы чинили. Она видела таких хирургов только в кино. В жизни были другие – уставшие, дерганые, которые срывались на сестер, если что-то шло не так. Кравцов не срывался никогда. Он просто делал свое дело, и делал его так, будто от этого зависела судьба всего мира.

Парнишка умер через сорок минут.

Кравцов выпрямился, отбросил окровавленные перчатки в таз. Посмотрел на Анну – устало, без выражения:

– Следующий.

– Иван Сергеевич, – начала тетя Паша, – может, передохнете?

– Следующий, – повторил он, и голос его не дрогнул.

Второй был пожилой. Тоже тяжелый, но с другими шансами – осколок засел в бедре, не задев артерию. Кравцов работал еще час, потом вышел покурить. Анна осталась обрабаты-

вать рану, накладывать повязку. Раненый – его звали Егор Кузьмич, он успел сказать, когда пришел в себя – смотрел на нее благодарными глазами:

– Спасибо, дочка. Спасибо.

– Не за что, – ответила Анна. – Лежите спокойно.

– А тот паренек… молодой… который первый был… выжил?

Анна покачала головой. Егор Кузьмич закрыл глаза, и по щеке у него потекла слеза. Он не всхлипывал, не жаловался – просто плакал молча, и Анна поняла: наверное, у него у самого сын где-то воюет.

Она вышла в коридор в седьмом часу утра. За окнами все еще было темно, но где-то уже намечался рассвет – небо на востоке чуть посерело. Анна присела на подоконник, достала кисет с махоркой, свернула цигарку. Курить она научилась здесь, в медсанбате, – чтобы не засыпать на ходу, чтобы убить запах крови, чтобы просто занять руки.

Закурила, закашлялась. Махорка была дрянная, жгла горло. Но после второго или третьего раза становилось легче.

В коридоре было тихо – только где-то стонал раненый, да санитары перетаскивали носилки. Анна смотрела в окно на серый, неверный рассвет и думала. Думала всегда в такие минуты – когда работа заканчивалась и наступала короткая передышка перед новой.

Она вспоминала, какой была два года назад.

Тогда, летом сорок второго, она пришла в военкомат проситься на фронт. Ей было двадцать, она только что закончила курсы медсестер в Саратове, куда эвакуировалась с заводом. Дома – под Псковом – остались мать, отец, младший брат. От них давно не было писем, и Анна знала, что не будет, но гнала эту мысль прочь.

В военкомате на нее посмотрели, вздохнули: «Девушка, война – это не шутки». Она настояла. И через месяц уже была под Сталинградом, в медсанбате, где сутки не вылезали из операционных и где немцы были так близко, что слышно было, как они переговариваются.

Она помнила свое первое дежурство. Помнила, как впервые увидела разорванного снарядом человека – он был еще жив, и она должна была ему помочь, но руки тряслись, а в голове была одна мысль: «Господи, как же так, ведь он только что ходил, дышал, говорил…» Помнила, как потом рыдала в углу, забившись между ящиками с медикаментами, чтобы никто не видел. Помнила, как старшая сестра – не тетя Паша, другая, погибшая под бомбежкой через месяц – сказала ей тогда: «Запомни, девонька. У тебя есть сердце. Но здесь оно тебе мешать будет. Научись его выключать. Не насовсем, а на время. Иначе сойдешь с ума».

Анна научилась.

Теперь она могла смотреть на раны, от которых у нормального человека потемнело бы в глазах. Могла держать за руку умирающего и говорить ему что-то спокойное, ободряющее,

хотя внутри была пустота. Могла перешагнуть через только что умершего и идти к следующему – потому что следующий еще жив и ему нужна помощь.

Она очерствела. Она знала это и не жалела. Война не просила у нее разрешения – она просто брала, и Анна отдавала все, что могла. Душу, сердце, нервы. Отдавала и не ждала назад.

Но иногда, как сейчас, в эти короткие минуты покоя, что-то прорывалось.

Она вспоминала отца – высокого, сутулого, с вечно перепачканными машинным маслом руками. Он работал механиком в МТС и мог починить любой трактор, даже если тот рассыпался на части. Вспоминала, как он учил ее ездить на велосипеде: «Не бойся, Аня, не бойся, я держу!» – а сам давно отпустил, и она ехала сама, и ветер бил в лицо, и было так радостно, что хотелось кричать.

Вспоминала мать – тихую, улыбчивую, с мягкими руками, которые пахли хлебом и молоком. Мать пекла пироги по воскресеньям, и весь дом наполнялся таким запахом, что соседи завидовали.

Вспоминала брата Ваньку – сорванца, который вечно лазил по деревьям и приходил домой в рваных штанах. Он мечтал стать летчиком и рисовал самолеты на всех тетрадках.

Их не было. Анна знала это, но не позволяла себе думать. Потому что если начать думать – все, конец. Не будет ни сил, ни желания работать. А работать надо. Работать, пока руки держат иглу, пока ноги носят, пока глаза видят.

Она затушила окурок о подоконник, спрятала в карман – здесь, в госпитале, с порядком было строго, за окурки тетя Паша гоняла как заразных.

В коридоре показалась Зина. Лицо у нее было серое, под глазами круги.

– Ань, – позвала она тихо, – иди поешь. Там каша осталась.

– А ты?

– Я уже. Давай, а то свалишься.

Анна кивнула, пошла за ней в столовую – бывшую учительскую, где теперь стояли длинные столы, сколоченные из фанеры. Каша была – перловка с тушенкой, разогретая на печке. Анна наложила себе полную миску, села в углу, принялась есть медленно, тщательно пережевывая. На войне еда была святым делом – никогда не знаешь, когда доведется поесть в следующий раз.

– Ты как? – спросила Зина, присаживаясь рядом.

– Нормально.

– Врешь. У тебя глаза как у покойника.

Анна усмехнулась. Зина была единственной, кто мог ей такое сказать. С остальными Анна держала дистанцию – вежливую, ровную, непроницаемую. А Зина как-то пробилась, прикипела. Может, потому что сама была такой же – только еще не научилась прятать глаза.

– А у тебя? – спросила Анна в ответ. – Тот парень, что бредил, очнулся?

Зина покачала головой:

– Нет. Я ему укол сделала, он уснул. Тетя Паша сказала, может, к утру придет в себя. А может, и нет.

– Придет, – сказала Анна уверенно. Она не знала, придет или нет, но говорить надо было уверенно – Зине это было нужно.

– Ань, – Зина помялась, – а ты никогда не думала… ну… уйти? В тыл, в нормальный госпиталь?

– Думала.

– И?

– И не ушла.

Зина вздохнула:

– Я вот думаю. Иногда так страшно становится, что хоть в петлю. А потом смотрю на них – на раненых – и понимаю: им страшнее. Им завтра опять в бой. Или смерть. А я всего лишь здесь, в тепле, под крышей. Стыдно жаловаться.

– Не стыдно, – Анна отложила ложку. – Страх – он не стыдный. Он человеческий. Ты же человек, Зина.

– А ты? Ты тоже боишься?

Анна помолчала. Потом сказала тихо:

– Боюсь. Только не смерти. Боюсь не выдержать. Сломаться. Перестать видеть в них людей – и видеть только мясо. Знаешь, бывают такие санитары… насмотрятся, наработаются – и все, пустота. Глаза пустые, руки делают, а внутри ни черта. Я боюсь такой стать.

Зина посмотрела на нее с удивлением:

– Ты? Да ты же… Ты же с каждым разговариваешь, каждого по имени называешь, если успеваешь узнать. Ты не такая.

– Стараюсь не быть, – поправила Анна. – Это каждый день работа. Не дать себе окаменеть.

Они посидели еще немного, допили чай – жидкий, коричневый, пахнущий веником. Чай был не чай, а какая-то трава, заваренная кипятком, но пить хотелось, и пили.

В столовую заглянул санитар дядя Вася – пожилой мужик с перебитой рукой, который остался при медсанбате после ранения, потому что ехать ему было некуда:

– Девоньки, там новенькие очухались. Просят покурить.

– Сейчас, – Анна поднялась. – Я схожу.

Курево было дефицитом, но для раненых не жалели. Анна собрала со стола остатки махорки, ссыпала в кисет, пошла в палату.

Палата – бывший класс, где еще висела финская доска с непонятными надписями – была заставлена койками вплотную. На койках лежали люди. Кто-то спал, кто-то смотрел в потолок, кто-то тихо переговаривался. В углу горела коптилка – электричество экономили.

– Кто просил покурить? – спросила Анна.

Руки поднялись сразу несколько. Она подошла к ближайшему – молодому сержанту с забинтованной головой, одни глаза видны.

– Тебе можно?

– А чего нельзя? – голос у него был сиплый, простуженный. – Голова не отвалится.

Анна свернула цигарку, прикурила от коптилки, дала ему. Сержант затянулся глубоко, с наслаждением, закашлялся – и засмеялся:

– Хороша! Спасибо, сестричка. А то наши уехали, а курево с собой забрали, черти.

– Кто уехал? – спросила Анна, раздавая цигарки остальным.

– Да взвод наш. Они легко отделались, их обратно. А меня вот… – Он дотронулся до бинтов. – Надолго здесь?

– Не знаю. Как врач скажет.

Сержант вздохнул:

– Эх, пролежишь тут все, а там без тебя повоюют. Я ж командир отделения, мужики без меня как без рук.

– Ничего, – Анна присела на край койки. – Навоеваться еще успеешь. Война долгая.

– Это да. – Он помолчал, глядя на огонек цигарки. – Слышь, сестричка, а ты откуда сама?

– Саратовская, – соврала Анна. Она всегда так говорила – проще было, чем объяснять про оккупированную деревню и проверки СМЕРШа.

– А я с Урала. Челябинск знаешь? Там заводы, танки делают. Я до войны на заводе работал, токарем. А как война – так сразу в училище, и на фронт. – Он говорил и говорил, словно боялся, что Анна уйдет и он останется один. Анна слушала, кивала, изредка вставляла слова. Она умела слушать – это было частью работы.

Так прошел час. Потом второй. Анна обошла палаты, проверила, кому нужна помощь, кому укол, кому просто воды подать. Руки делали свое дело привычно, почти автоматически. Мысли текли где-то отдельно.

К восьми утра пришло пополнение – две девчонки из эвакогоспиталя, совсем зеленые, с круглыми от страха глазами. Тетя Паша взяла их в оборот сразу – показала, рассказала, приставила к опытным. Одна досталась Анне.

– Лена, – представилась девчонка, теребя косынку. – Я первый раз… ну, на передовой.

– Здесь не передовая, – ответила Анна. – Здесь медсанбат. Работа та же, что в тылу, только раненых больше и лекарств меньше. Научишься.

Лена смотрела на нее с уважением и ужасом одновременно. Анна знала этот взгляд – так смотрят на бывалых, на тех, кто прошел. Она сама так смотрела когда-то.

– Пойдем, – сказала она. – Покажу, где что лежит.

Они пошли по коридору, и Анна объясняла: здесь перевязочная, здесь операционная, здесь тяжелые, здесь легкие, здесь столовая, здесь сестринская, здесь склад, сюда без тети Паши не суйся. Лена кивала, стараясь запомнить.

В палате тяжелых было тихо. Те, кто выжил после операции, спали или лежали с закрытыми глазами. Тот, кто не выжил – молодой парнишка с животом – уже уехал. Анна подошла к пожилому, Егору Кузьмичу, проверила повязку. Держалась.

– Как вы? – спросила тихо.

– Живой, – ответил он. – Спасибо тебе, дочка. Век не забуду.

– Не надо век помнить. Выздоравливайте скорее – и домой.

– Домой… – Он вздохнул. – А где он, дом-то? Деревню нашу немцы сожгли еще в сорок первом. Жена с детьми в эвакуации, где-то под Ташкентом. Письма редко приходят. Так и живем – кто где.

Анна промолчала. Что тут скажешь?

Она отошла от него, подошла к другому. Тот, что бредил ночью, спал – лицо спокойное, дыхание ровное. Значит, отошел. Значит, будет жить. Анна отметила это про себя – маленькая победа, из таких складывается день.

К полудню подвезли обед. Анна с Леной носили миски, кормили тех, кто сам не мог, помогали тем, кто мог. Раненые шутили, благодарили, некоторые смотрели на Лену с интересом – свежая девчонка, не то что мы, старые клячи. Лена краснела, смущалась, но дело делала.

– Ничего, – сказала Анна, когда они вышли в коридор. – Привыкнешь. Они хорошие. Просто мужики.

– Я понимаю, – Лена кивнула. – У меня брат на фронте. Тоже, наверное, так же лежит где-нибудь, и какая-нибудь сестра ему помогает.

– Может быть, – согласилась Анна.

Она не стала говорить, что видела тысячи таких братьев, и что многие из них не дожили до помощи. Нечего девчонку пугать раньше времени. Сама узнает.

День тянулся медленно. После обеда пришло еще две машины – не такие тяжелые, как ночью, но работы хватило. Анна перевязывала, колола, ставила капельницы, успокаивала, уговаривала, ругалась, когда надо было. Тетя Паша наблюдала за ней со стороны и, кажется, была довольна – по крайней мере, не ругалась.

К вечеру Анна села на койку в сестринской без задних ног. Зина уже спала, свернувшись калачиком. Лена сидела на табурете, читала какую-то книжку при свете коптилки.

– Ты чего не спишь? – спросила Анна.

– Не могу. В голове все крутится.

– Пройдет. Ложись, завтра рано вставать.

– А вы?

– Я еще посижу.

Анна вышла в коридор, села на подоконник. За окнами снова было темно, снова ухали пушки, снова где-то умирали люди. Она смотрела в эту темноту и думала: сколько еще? Сколько ночей, сколько раненых, сколько смертей? И будет ли после всего этого что-то, кроме пустоты?

Она не знала ответа. Никто не знал.

Но одно она знала точно: завтра она снова встанет, наденет халат, пойдет в палаты. Будет делать свое дело. Потому что если не она – то кто?

Потому что война не спрашивает, устала ты или нет.

Потому что люди умирают, а ты должен их спасать.

Потому что по-другому нельзя.

Она закурила последнюю цигарку, глядя на звезды, которым не было никакого дела до маленького медсанбата на Карельском перешейке, до восемнадцати раненых, привезенных ночью, до умершего парнишки, который так и не увидит свою маму.

– Прости, – сказала она кому-то невидимому. – Мы старались.

Звезды молчали.

Анна докурила, спрятала окурок, пошла в сестринскую. Легла на койку, закрыла глаза. Сон пришел сразу – тяжелый, без сновидений, как всегда после работы.

А через четыре часа ее разбудит новый звонок, и все повторится сначала.

Но это будет завтра.

А пока была ночь, и тишина, и короткий покой перед новой битвой за чужие жизни.

ГЛАВА 2. ЛЕЙТЕНАНТ С «РАЗВЕДКОЙ» В ПЕТЛИЦАХ

Октябрь 1944 года. Карельский перешеек, медсанбат

Утро после ночной смены всегда было самым тяжелым.

Уже в семь ее растолкала тетя Паша:

– Вставай, соня. Легкораненых привезли, перевязочная забита. Зина одна не справляется.

Анна открыла глаза и несколько секунд смотрела в потолок, собирая себя по частям. Тело ломило, веки слипались, во рту было сухо и горько от ночной махорки. Хотелось одного – закрыть глаза и провалиться обратно в черноту. Но тетя Паша стояла над душой, и спорить с ней было бесполезно.

– Иду, – сказала Анна севшим голосом.

Она натянула халат прямо поверх гимнастерки, в которой спала, пригладила волосы влажной ладонью – зеркала в сестринской не было, да и нужды в нем никакой – и поплелась в перевязочную.

Коридор уже гудел. Раненые сидели на скамейках, стояли у стен, курили в форточку, переговаривались. Легкораненые – особый народ. Они еще помнили себя людьми, еще шутили, еще смотрели на сестер не как на ангелов-спасителей, а как на обычных девчонок. Анна любила их больше, чем тяжелых. С ними можно было разговаривать, не боясь, что они умрут посреди фразы.

– Сестричка, а мне когда? – крикнул кто-то из очереди.

– Сестричка, у меня палец отрезать будут? – спросил другой, показывая замотанную кровавой тряпкой руку.

– Сестричка, а покурить есть?

Анна отмахивалась на ходу, привычно, почти автоматически:

– Всем будет. Ждите. Не курить в коридоре, начальство увидит – всыплет.

Она нырнула в перевязочную – тесную комнатушку с одним окном, за которым виднелись голые октябрьские деревья. Зина уже металась между двумя столами, успевая обрабатывать сразу троих. Лицо у нее было красное, косынка съехала набок.

– Анька, слава богу! – выдохнула она. – Зашиваюсь совсем. Тут этот… – она кивнула на парня с разодранной бровью, – талдычит, что ему в бой надо, а у него швы разойдутся, если он сейчас дергаться начнет. А этот, – кивок на другого, с замотанной кистью, – вообще сбежать пытался, я еле поймала.

– Успеешь в свой бой, – Анна подошла к парню с бровью, взяла его за подбородок, повернула к свету. – Сиди смирно. Я тебя сейчас так зашью, что мама родная не узнает. Будешь в тылу до самой Победы прохлаждаться.

Парень хотел возразить, но Анна уже воткнула иглу, и он только охнул.

Работа закипела.

Анна шила, перевязывала, мазала йодом, накладывала повязки, и в голове у нее было пусто и спокойно, как всегда во время дела. Мысли уходили, оставались только руки и глаза. Так было легче.

Очередь таяла медленно. Кто-то матерился, кто-то благодарил, кто-то пытался шутить. Анна отвечала односложно, не поднимая глаз. Она заметила, что за два года войны разучилась улыбаться просто так, без повода. Улыбка стала дефицитом, как сахар или чистые бинты. Ее берегли для особых случаев.

– Крайний, – сказала Зина, когда последний из очереди вышел в коридор.

Анна подняла голову.

В дверях стоял лейтенант.

Она отметила это сразу – как отметила бы любой предмет обмундирования: петлицы с двумя кубиками, род войск – разведка. Потом подняла глаза выше и… замерла на секунду.

У него было лицо, которое она уже где-то видела. Не в жизни – в довоенных книжках, на плакатах, в тех редких фильмах, что показывали в клубах перед войной. Лицо человека, который умеет смотреть и видеть. Серые глаза, темные брови вразлет, тонкий нос с горбинкой, плотно сжатые губы. И усталость. Глубокая, въевшаяся в кожу усталость, которую не спрятать ни за какой улыбкой.

Он улыбнулся. И усталость никуда не делась – просто стала другой, освещенной изнутри.

– Принимайте пополнение, сестрички, – сказал он. Голос у него был низкий, чуть хрипловатый, с ленинградским говорком – растянутыми гласными и мягкими согласными. – Рука вот барахлит.

Он подошел к столу, протянул левую руку. На предплечье, чуть выше локтя, красовалась длинная ссадина – не опасная, но грязная, с налипшей землей. Такие ссадины бывают, когда человек падает или ползет по земле.

– Садитесь, – Анна кивнула на табурет.

Он сел. Теперь они были рядом – так близко, что она чувствовала запах махорки, шинельного сукна и еще чего-то неуловимого, мужского, от чего внутри шевельнулось что-то давно забытое.

– Давно? – спросила она, беря его руку.

– Вчера. – Он поморщился, когда она начала счищать грязь. – На учениях. Замаскировались неудачно, пришлось отползать по-пластунски. Ну и напоролся на какой-то корень.

– На учениях, – повторила Анна без выражения. – А на фронте, значит, не были?

– Были. – В его голосе мелькнула усмешка. – Три месяца под Нарвой. Потом часть отвели на переформирование. Вот теперь грызем гранит науки в полевых условиях.

Она молча обрабатывала ссадину. Ранка была пустяковая, но землю надо было вычистить всю, до последней песчинки, чтобы не пошло заражение. Анна работала аккуратно, стараясь не делать больно, хотя понимала: больно все равно будет. Он молчал, только смотрел, как она возится с его рукой, и от этого взгляда у нее начинали гореть кончики ушей.

– Вы местная? – спросил он вдруг.

– Нет, – ответила Анна коротко.

– А по говору показалось. У вас выговор северный. Вологодский? Или архангельский?

– Псковская я, – вырвалось у нее прежде, чем она успела подумать.

Она прикусила губу. Глупо. Нельзя было говорить, откуда она на самом деле. Псковская область – оккупация, фильтрация, проверки. Сразу вопросы пойдут. Но почему-то этому лейтенанту она сказала правду. Легко, просто, как будто так и надо.

– А я ленинградский, – сказал он. – Коренной. До войны на Васильевском жил, в Девятой линии. Знаете такую?

– Нет, – Анна покачала головой. – Я в Ленинграде не была.

– Город красивый. – В его голосе появилась мягкость. – Я вас обязательно свожу, когда война кончится. Покажу Дворцовую набережную, Эрмитаж… Хотя Эрмитаж сейчас пустой, все вывезли. Но стены остались. Стены – это главное.

Анна подняла глаза и встретила его взгляд. Он смотрел на нее серьезно, без тени кокетства, и от этого серьезного обещания показать несуществующий город у нее сжалось сердце.

– Вы всем медсестрам экскурсии обещаете? – спросила она, чтобы скрыть смущение.

– Только тем, у кого руки добрые, – ответил он.

Она фыркнула, но внутри что-то оттаяло. Давно ей никто не говорил таких слов. Да и говорили ли вообще?

Обработка подходила к концу. Анна накладывала повязку, стараясь, чтобы бинт лег ровно и не слишком туго. Он следил за ее пальцами, и она чувствовала это каждой клеточкой.

– Готово, – сказала она, отстраняясь. – Через три дня на перевязку. Если покраснеет или стрелять начнет – приходите сразу.

Он встал, одернул гимнастерку. Улыбнулся снова – и усталость на его лице словно рассеялась на миг:

– Спасибо, сестричка. Золотые у вас руки.

– Руки как руки, – буркнула Анна, начиная собирать использованные бинты.

Он не уходил. Стоял, переминаясь с ноги на ногу, и смотрел на нее. Потом кашлянул:

– А как вас зовут?

– Анна.

– А меня Марк. – Он протянул руку, и Анна машинально пожала ее. Ладонь у него была теплая, сухая, с твердыми мозолями на пальцах. – Очень приятно, Анна.

– Взаимно, – ответила она, высвобождая руку.

– Слушайте, Анна, – он понизил голос, – я понимаю, что навязываюсь, но… у вас вид такой, будто вы сутки не спали. Давайте я вам помогу с чем-нибудь. Воды принести? Дров наколоть? Я в медсанбатах бывал, знаю, какая тут работа.

Анна хотела отказаться. Это было неправильно, не по уставу – брать помощь от раненого, да еще такого… Но сил действительно не было. Руки гудели, ноги подкашивались, а впереди был еще целый день.

– Воды? – переспросила она. – Воды надо бы. У нас колодец во дворе, а таскать тяжело.

– Так я мигом! – Он прямо засветился. – Где ведра?

– Да погодите, – попыталась остановить его Анна. – Вы же раненый.

– Ерунда, – отмахнулся Марк. – Царапина. А вода нужна всем. Где ведра, говорите?

Анна сдалась. Вышла с ним в коридор, показала, где стоят пустые ведра – большие, цинковые, на двадцать литров каждое. Марк подхватил их и решительно направился к выходу.

– Я провожу, – сказала Анна. – А то заблудитесь.

– Не заблужусь, я разведчик, – усмехнулся он. – Но от компании не откажусь.

Они вышли на улицу. Утро было серым, холодным, но безветренным. Небо нависало низко, обещая снег. Двор медсанбата – бывший школьный двор – был утоптан до состояния асфальта. У колодца, старого, финского, с высоким воротом, уже толпились бойцы. Кто-то мылся, кто-то просто болтал, кто-то курил, глядя на лес.

Когда они подошли, разговоры стихли. Все взгляды устремились на Анну и Марка.

– Ого, – протянул кто-то из бойцов. – Лейтенант, вы это… с ведрами-то зачем? Тяжело небось?

– А я сестре помогаю, – спокойно ответил Марк, ставя ведра на сруб колодца. – У нее дел много, а вода сама не придет.

– Помогает он, – хмыкнул другой боец, постарше, с нашивкой за ранение. – Ты глянь, мужики, лейтенант наш в разведку ходил, а теперь в подсобные рабочие записался. Не иначе, сестричка приворожила.

Анна почувствовала, как краснеет. Она вообще не привыкла быть в центре внимания, а тут еще эти шуточки…

Марк, однако, не смутился. Он ловко крутанул ворот, опуская ведро в колодец, и обернулся к шутникам:

– А вы бы, товарищи бойцы, лучше пример брали. Война войной, а женщинам помогать надо. Особенно таким, которые нас с того света вытаскивают.

– Ой, слышь, какой правильный! – заржал молоденький сержант с замотанной щекой. – Товарищ лейтенант, а вы, случаем, жениться на ней не надумали? Так мы и свадьбу сыграем, у нас гармонь есть!

– А что, – Марк вытащил полное ведро, поставил на сруб, – мысль неплохая. Только невесту спросить надо. Анна, выходите за меня?

Он сказал это так легко, с такой дурашливой улыбкой, что Анна сначала опешила, а потом не выдержала – рассмеялась. Смех вышел хриплым, непривычным – она и забыла, когда смеялась в последний раз.

– Лейтенант, вы с ума сошли, – сказала она, качая головой. – Ведра давайте, и пошли.

– Не-не-не, – зашумели бойцы. – Сестричка, не гони его! Пусть старается! Давай, лейтенант, второе ведро! Покажи класс!

Марк с готовностью принялся за второе ведро. Крутил ворот с преувеличенным старанием, изображая, что ему тяжело, хотя видно было – справляется легко. Анна стояла рядом, пряча улыбку в воротник шинели, и чувствовала себя… живой. Впервые за долгое время – просто живой.

– А правда, сестричка, – подошел поближе пожилой боец с нашивками, – откуда вы родом? Не из наших мест?

– Из Псковской, – ответила Анна, решив, что скрывать уже бесполезно. – Деревня Ключевое, под Опочкой.

– Оккупация была? – спросил боец серьезно.

– Была.

– Прорвались к своим?

– Прорвалась. С частью вышла.

Боец кивнул, не задавая больше вопросов. Он понимал – такие вещи не обсуждают при всех.

Марк тем временем наполнил оба ведра, ловко подхватил их и вопросительно посмотрел на Анну:

– Куда нести?

– В столовую, – ответила она. – За мной.

Они пошли через двор, и вслед им неслись шуточки и свист. Анна чувствовала, как горят щеки, но почему-то не злилась. Давно уже на нее никто так не смотрел – с интересом, с теплотой, с дурашливым восхищением.

– Вы не обращайте внимания, – сказал Марк, шагая рядом. – Они от души. Просто соскучились по нормальной жизни.

– А вы не соскучились?

Он помолчал, потом ответил тихо:

– Соскучился. Только у меня нормальной жизни и не было, считай. Война началась, когда я только институт окончил. Вместо диплома – повестка. Вместо первой любви – первые потери.

– Какой институт?

– Ленинградский университет, исторический факультет. – Он усмехнулся. – Представляете? Историк в разведке. Изучаю не древние манускрипты, а расположение огневых точек.

– Историк… – повторила Анна. – Это хорошо. Это значит, вы понимаете, за что воюете.

– А вы понимаете?

Вопрос прозвучал неожиданно серьезно. Анна остановилась, посмотрела на него:

– Я понимаю, что надо выжить. И другим помочь выжить. Это и есть моя война.

Марк кивнул, и в его глазах мелькнуло что-то – уважение, кажется.

– Тогда мы с вами коллеги, Анна. Вы спасаете тела, а я пытаюсь спасти память. Чтобы после войны было что вспоминать.

Они вошли в здание. В коридоре было людно – раненые сновали туда-сюда, санитары тащили носилки, тетя Паша кого-то отчитывала за разбросанные бинты. Марк донес ведра до столовой, поставил у плиты, выпрямился:

– Принимайте работу.

– Спасибо, – сказала Анна. И добавила, чуть помедлив: – Правда, спасибо. Вы не обязаны были.

– Я хотел, – ответил он просто. – Можно, я еще зайду? Воды принести или еще чего? Мне все равно в санчасть через три дня на перевязку.

– Можно, – сказала Анна. И сама удивилась тому, как легко это сказала.

Марк улыбнулся – светло, открыто, совсем по-мальчишески:

– Тогда до встречи, Анна.

Он вышел, а она осталась стоять посреди столовой, глядя на закрывшуюся дверь. Подошла Зина, толкнула в бок локтем:

– Ты чего? Уставилась как на привидение.

– Да так… – Анна тряхнула головой, прогоняя наваждение. – Пойдем работать.

– Ой, Анька, – Зина хитро прищурилась. – Я все видела. Ты на него смотрела так, как на Кравцова ни разу не смотрела.

– На Кравцова все смотрят, – отрезала Анна. – А этот… просто лейтенант. Легкораненый.

– Легкораненый, ага. – Зина засмеялась. – Ну-ну.

Анна отмахнулась и пошла в перевязочную. Но весь день, среди бинтов и йода, среди стонов и просьб, она нет-нет да ловила себя на том, что думает о нем. О его глазах, о его голосе, о том, как он крутил ворот у колодца, ничуть не смущаясь подшучиваний бойцов.

К вечеру, когда смена наконец закончилась, Анна вышла на крыльцо покурить. Уже стемнело, небо затянуло тучами, с леса тянуло сыростью и прелой листвой. Она курила, глядя на огонек цигарки, и думала.

Война – странное время. Здесь все спрессовано, ускорено, здесь люди сходятся за дни так, как в мирной жизни не сходились за годы. Здесь смерть ходит рядом, и от этого жизнь становится острее, горячее, словно последняя спичка в промерзших пальцах.

Она вспомнила его слова: «Я вас обязательно свожу в Ленинград». Глупость, конечно. Какая экскурсия, какой Ленинград? Завтра его часть уйдет на переформирование, послезавтра – обратно на фронт, и через месяц он будет лежать где-нибудь под Нарвой или под Таллинном, и кто-то другой – или она сама – будет перевязывать его уже по-настоящему. Или не перевязывать.

Такова война. Здесь не строят планов.

Но почему-то сегодня Анна позволила себе маленькую слабость – представила, как идет по набережной, а рядом этот лейтенант с серыми глазами, и показывает ей город, которого она никогда не видела.

Глупости, конечно.

Она затушила окурок, пошла в сестринскую.

Зина уже спала, свернувшись калачиком. Анна легла, укрылась шинелью, закрыла глаза. Заснула быстро – усталость брала свое. Но перед сном, уже на грани забытья, она улыбнулась.

Впервые за долгое время – просто улыбнулась.

…На следующее утро она проснулась с мыслью о нем.

Это было непривычно и даже немного пугало. Анна привыкла просыпаться с мыслями о делах: кому укол, кому перевязку, сколько бинтов осталось, хватит ли морфия. А тут – какое-то лицо, какие-то глаза, и глупый вопрос: придет ли он сегодня?

Он не пришел.

Ни сегодня, ни завтра. Анна ловила себя на том, что выглядывает в коридор каждый раз, когда открывается дверь, и тут же злилась на себя за это. Глупо. Мало ли легкораненых прошло через медсанбат? И все они были чужими, проходящими, исчезающими в военной круговерти. И этот будет таким же.

Но через три дня, когда она уже почти перестала ждать, дверь в перевязочную открылась, и на пороге возник Марк.

– Здравия желаю, товарищ медсестра, – сказал он с дурашливой официальностью. – Явился на перевязку согласно предписанию.

Анна почувствовала, как внутри что-то подпрыгнуло и забилось. Она строго свела брови:

– Садитесь. Показывайте.

Он сел, закатал рукав. Повязка была чистой – он явно берег ее. Анна размотала бинт, осмотрела ранку. Заживало хорошо, красноты не было.

– Отлично, – сказала она. – Можно уже не заматывать. Только мазать йодом пару дней.

– Вот и славно, – улыбнулся Марк. – А то я с бинтом как инвалид.

Он помолчал, глядя на нее. Анна собирала использованные бинты, делая вид, что очень занята.

– Анна, – сказал он вдруг тихо, – я тут подумал… Может, сходим куда-нибудь вечером? Ну, не в город, конечно, а так… посидим где-нибудь? Я с собой фляжку привез, трофейную. Коньяк, между прочим. Поделиться хочу.

Анна подняла глаза. Она понимала, что нельзя. Что это неправильно, не по уставу, что связываться с ранеными – себе дороже. Но война уже отняла у нее столько всего, что отказываться от этого маленького, крошечного кусочка тепла было выше ее сил.

– Где? – спросила она коротко.

– А вон там, – он кивнул в сторону окна. – Видите сарайчик? Дровяной склад. Я договорился с санитарами, они ключ дали. Часов в восемь? Темно уже будет.

– А если патруль?

– Не поймают. Я разведчик, – подмигнул он. – Проведу вас по всем тылам.

Анна вздохнула. Потом кивнула:

– Хорошо. В восемь.

Он просиял:

– Я приду. Обязательно.

И ушел, легкий, быстрый, растворился в коридоре, полном раненых. Анна смотрела ему вслед и думала: что она делает? Зачем ей это? Она же не Зина, не влюбчивая девчонка. Она взрослая, опытная, обожженная войной женщина. И вдруг – свидание в дровяном сарае, как в тринадцать лет?

Но внутри было тепло, и это тепло заглушало голос разума.

В восемь, когда стемнело, она выскользнула из сестринской. Зина спала, тетя Паша ушла в операционную – Кравцов делал срочную операцию. Анна накинула шинель поверх халата, вышла во двор.

Было холодно, подмораживало. Луна пряталась за тучами, и Анна почти на ощупь добралась до дровяного сарая. Дверь скрипнула, и чья-то рука втянула ее внутрь.

– Тише, – шепнул Марк. – Я здесь.

В сарае пахло деревом, сухой корой и еще чем-то – наверное, тем самым коньяком. Марк зажег маленький фонарик, поставил его на чурбак. Получилось уютно – свет мягкий, теплый, дрожащий.

– Садитесь, – он указал на перевернутый ящик. – Вот, угощайтесь.

Он протянул ей фляжку. Анна отпила глоток – коньяк обжег горло, разлился теплом в груди. Она закашлялась, и Марк засмеялся:

– Непривычно? Я тоже сначала кашлял. А теперь ничего, привык.

Они сидели в сарае, пили коньяк, говорили. О чем? Обо всем и ни о чем. О довоенной жизни, о книгах, о музыке. Марк рассказывал о Ленинграде, о белых ночах, о том, как они с друзьями гуляли по набережной до утра. Анна слушала и представляла – ярко, красочно, словно сама там была.

– А вы замужем были? – спросил Марк вдруг.

Анна покачала головой:

– Жених был. В сорок первом погиб.

– Простите.

– Ничего. Давно уже.

Она помолчала, потом спросила:

– А у вас?

– Была девушка. – Он усмехнулся горько. – В блокаду осталась в Ленинграде. Писала сначала, а потом письма перестали приходить. Может, уехала, может… – Он не договорил.

– Не надо, – сказала Анна тихо. – Не надо об этом. Здесь и так смерти хватает.

Марк кивнул, налил еще. Они чокнулись фляжкой о кулачок, выпили по очереди.

– Анна, – сказал он, глядя на нее в свете фонаря, – вы необыкновенная. Вы знаете?

– Ничего во мне необыкновенного нет, – ответила она. – Обычная медсестра.

– Обычных медсестер не бывает. Те, кто вытаскивает людей с того света – они все необыкновенные.

Она не ответила. Только посмотрела на него – долго, пристально. И в этом взгляде было столько всего, что слова были не нужны.

Посидели еще немного. Потом Анна встала:

– Мне пора. Если хватятся – неприятностей не оберешься.

– Я провожу.

– Не надо. Сама дойду.

Она уже взялась за дверь, когда он окликнул:

– Анна!

Она обернулась.

– Я приду завтра, – сказал он. – Можно?

Она помедлила секунду. Потом кивнула:

– Приходи.

И вышла в ночь.

А он остался сидеть в сарае, глядя на мерцающий свет фонарика, и улыбался чему-то своему, сокровенному.

На следующее утро тетя Паша поймала Анну в коридоре:

– Ты чего это по ночам шастаешь? – спросила она без злости, скорее для порядка. – Я видела, как ты в сарай шла.

Анна замерла. Но тетя Паша только вздохнула:

– Дура ты, Аня. На войне нельзя к людям привыкать. Убьют его завтра – что делать будешь?

– Не убьют, – сказала Анна твердо.

– Откуда знаешь?

– Знаю.

Тетя Паша покачала головой, но ничего не сказала. Только погрозила пальцем и ушла по своим делам.

А Анна пошла в палаты, и на сердце у нее было легко, почти празднично.

Она знала, что это глупо. Знала, что война не прощает привязанностей. Знала, что каждый день может стать последним.

Но Марк обещал прийти.

И это было важнее всего.

ГЛАВА 3. ТОТ, КТО ПРИШЕЛ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

Глубокая ночь. Октябрь 1944 года. Карельский перешеек, медсанбат

Анна проснулась от гула моторов.

Это был не тот ровный, далекий гул, который сопровождал их дни и ночи, став привычным фоном существования. Это был надрывный, захлебывающийся рев машин, которые шли на пределе возможностей, выжимая из моторов последнее. Так ездят только в одном случае – когда в кузове лежат те, кто может не доехать.

Она села на койке, еще не понимая, где находится. Сердце колотилось где-то в горле, руки уже шарили по полу в поисках сапог. Рядом заворочалась Зина, что-то простонала спросонья.

– Тихо, – бросила Анна. – Спи. Я сама.

Она натянула сапоги на босу ногу, накинула шинель поверх ночной рубашки и выскочила в коридор. Там уже было светло – кто-то зажег все лампы, какие были. Тетя Паша бежала навстречу, на ходу застегивая халат.

– Слышала? – крикнула она.

– Слышала.

– Готовь операционную. Кравцова будить?

– Уже иду.

Анна свернула к комнатушке, где жил хирург. Кравцову выделили бывший кабинет финского завуча – маленькую клетушку с продавленным диваном и письменным столом. Она постучала – раз, другой, третий. Дверь открылась почти мгновенно – Кравцов стоял на пороге уже одетый, с заспанным лицом, но полностью собранным.

– Слышу, – сказал он коротко. – Иду.

Они встретились в операционной. Тетя Паша уже разложила инструменты, зажгла спиртовки, приготовила йод и бинты. Зина прибежала следом, бледная, с мокрым от умывания лицом.

– Сколько? – спросил Кравцов, надевая перчатки.

– Не знаю, – ответила Анна. – Сейчас узнаем.

Машины подъехали через пять минут – три грузовика, одна санитарная летучка. Анна выскочила на крыльцо, и первое, что она увидела, был свет фар, выхватывающий из темноты мокрый снег, лица санитаров и носилки. Много носилок.

– Сколько? – крикнула она подбежавшему старшине.

– Двенадцать. Четверо тяжелых. Один – совсем плох.

– Кто?

– Разведка, – старшина отвел глаза. – С той стороны возвращались. Попали под минометный обстрел уже на нашей территории. Там такое…

Он не договорил, махнул рукой и побежал обратно к машинам.

Анна подошла к носилкам, которые санитары уже выгружали на снег. Четверо тяжелых лежали отдельно. Трое – в обычном нашем обмундировании, залитом кровью. А четвертый…

Она остановилась, вглядываясь.

Человек на носилках был одет в немецкую форму. Мышиного цвета шинель, сапоги с широкими голенищами, пилотка с орлом – все чужое, вражеское, вызывающее мгновенный спазм в горле. Анна шагнула ближе, готовая ко всему. Но в свете фар увидела лицо.

Русское лицо. Своё.

Молодое, лет двадцати пяти, заострившееся от боли и потери крови. Глаза закрыты, губы искусаны в кровь. На груди, поверх немецкой шинели, расплывалось огромное темное пятно.

– Разведчик, – выдохнула подоспевшая Зина. – Смотри, форма немецкая…

– Вижу, – оборвала Анна. – Не стой столбом. Тащите в операционную. Первым его.

Четвертого понесли сразу. Анна шла рядом, держа раненого за руку – пульс был, но слабый. Человек дышал с трудом, со свистом, и каждый выдох сопровождался булькающим звуком.

– Перитонит, – сказал Кравцов, мельком взглянув на носилки. – И осколочные множественные. Готовьте всё. Анна, со мной. Зина, остальных – в палаты, по возможности быстро.

Операционная наполнилась людьми. Анна разрезала на раненом одежду – немецкую шинель, мундир, рубашку. Под всем этим обнаружилось тело, иссеченное осколками. Мелкие ранки покрывали руки, плечи, грудь. Но главное было в животе – огромная рваная рана, из которой тонкой струйкой сочилась сукровица с примесью желчи.

– Глубоко, – констатировал Кравцов, вглядываясь. – Кишечник задет, печень, скорее всего, тоже. Давно?

– Спросить не у кого, – ответила Анна. – Может, час, может, два. Пока довезли…

– Ясно.

Кравцов работал молча, быстро, с той виртуозной точностью, которая отличала его от всех других хирургов, каких Анна видела за войну. Руки его двигались словно сами по себе,

отдельно от тела, – зажимы, тампоны, швы, снова зажимы. Анна подавала инструмент, вытирала кровь, следила за пульсом и дыханием.

– Давление падает, – сказала она через полчаса.

– Вижу. Адреналин есть?

– Последняя ампула.

– Давай.

Анна вскрыла ампулу, набрала в шприц, вколола прямо в сердце. Раненый дернулся, выгнулся дугой, но глаз не открыл.

– Держись, парень, – сказал Кравцов негромко. – Ты же с той стороны пришел, значит, живучий. Держись.

Анна смотрела на лицо раненого. Оно было спокойным, даже красивым в своей заостренной мужественности. Высокий лоб, темные брови, резкие складки у губ. Таким лицам место в кинохронике, на плакатах «Родина-мать зовет». А не здесь, на окровавленном столе, с развороченным животом.

– Кто он? – спросила она тихо.

– Не знаю, – ответил Кравцов, не отрываясь от работы. – И не узнаем, пока не очнется. Если очнется.

– Документов нет?

– Какие документы в такой форме? Если бы его фрицы поймали – расстрел на месте. Он даже наши документы не мог взять – провалил бы задание.

Анна кивнула. Она знала о работе разведчиков немного, но достаточно, чтобы понимать: этот человек шел на смерть каждый день, каждый час. И сейчас, на операционном столе, он платил по счетам.

Прошел час. Потом второй. Кравцов работал без перерыва, без единой минуты отдыха. Тетя Паша сменила Анну у инструментов, потом Зина. Анна выходила в коридор покурить, глотала холодный воздух, пытаясь унять дрожь в руках, и возвращалась обратно.

Раненый держался. Пульс оставался слабым, но ровным. Дыхание стало глубже. Кравцов зашил кишечник, убрал осколки из печени, перевязал поврежденные сосуды.

– Чудо, – сказал он, когда последний шов был наложен. – Просто чудо. Такую рану редко кто переживает. Если доживет до утра – будет жить.

– Доживет, – сказала Анна с той уверенностью, которой не чувствовала.

Кравцов посмотрел на нее устало, с тенью улыбки:

– Ты всегда так говоришь. И часто угадываешь.

– Потому что хочу угадывать.

Он кивнул, снял перчатки, бросил их в таз. Руки у него дрожали мелкой дрожью – от напряжения, от усталости, от того, что четыре часа подряд он держал человеческую жизнь на кончиках пальцев.

– Анна, побудь с ним, – попросил он. – Первые часы самые важные. Если что – зови.

– Хорошо.

Она осталась одна в операционной. Тяжелый запах крови и йода смешивался с запахом лекарств и еще чем-то неуловимым – может быть, с запахом смерти, который Анна научилась различать за версту. Но здесь смерти пока не было. Здесь была жизнь, цепляющаяся за существование из последних сил.

Она села на табурет рядом с носилками, на которые переложили раненого. Смотрела на его лицо, слушала дыхание, считала пульс. Тишина стояла такая, что слышно было, как потрескивает фитиль в керосиновой лампе.

ГЛАВА 4. ШЕПОТ В БРЕДУ

Глубокая ночь. Октябрь 1944 года. Карельский перешеек, медсанбат

Анна осталась одна.

Кравцов ушел, бросив на ходу: «Если что – зови». Тетя Паша увела Зину перевязывать остальных раненых, привезенных с той же партией. В операционной установилась та особенная тишина, которая бывает только после долгой и тяжелой работы, – тишина выдоха, тишина временного перемирия со смертью.

Раненый лежал на столе неподвижно. Анна поправила под ним простыню, подложила под голову свернутую шинель вместо подушки. Лицо его было белым как мел, только под глазами залегли синие тени да губы, искусанные в кровь, выделялись темными пятнами. Она нащупала пульс – слабый, нитевидный, но ровный. Живой пока. Живой.

Села на табурет рядом. Придвинула поближе керосиновую лампу – так, чтобы свет падал на лицо раненого, и можно было заметить малейшее изменение. В руках держала флакон с нашатырем – на всякий случай.

За окнами выл ветер. Где-то далеко ухали пушки – наши били по финским позициям, или финны по нашим, Анна уже не различала. Здесь, в маленькой комнатке с высокими финскими окнами и облупившейся краской на стенах, был свой мир – мир борьбы за одну-единственную жизнь.

Она смотрела на раненого и думала.

Кто он? Откуда? Сколько ему лет? На вид – около двадцати пяти, может, чуть больше. Лицо интеллигентное, тонкое, с правильными чертами. Такие лица бывают у людей, которые до войны учились в университетах, читали книги, спорили о стихах. Может быть, он тоже был историком, как Марк? Или филологом? Или художником?

Немецкая форма на нем была рваная, пропитанная кровью и грязью. Анна машинально отметила про себя: шинель мышиного цвета, мундир с погонами обер-ефрейтора, сапоты с широкими голенищами – хорошие сапоги, добротные. Под мундиром – серая рубашка, тоже немецкая, и нательное белье из тонкого трикотажа, не наше, не грубое.

Он шел с той стороны. Был там, у немцев. Выполнял задание. Рисковал жизнью каждый день, каждый час. И вот теперь лежит здесь, на операционном столе, и неизвестно, увидит ли рассвет.

Анна вздохнула. Сколько их таких прошло через ее руки? Сотни? Тысячи? Она давно сбилась со счета. Каждый был чьим-то сыном, братом, мужем, отцом. Каждого кто-то ждал. И многие не дождались.

Но этот был особенным. Не потому, что красивое лицо или молодая. А потому, что пришел оттуда, из-за линии фронта. Потому, что знал то, чего не знали другие. И уносил это знание с собой.

– Держись, – сказала она ему шепотом. – Ты же разведчик, вы живучие. Держись.

Он не ответил. Только веки чуть дрогнули, словно он слышал ее сквозь беспамятство.

Время тянулось медленно. Анна сидела, считала пульс каждые пять минут, меняла холодные компрессы на лбу, смачивала губы водой. Рана была зашита, но опасность не миновала – перитонит мог вернуться, могло начаться заражение крови, могло случиться все что угодно. Организм боролся сам, и Анна могла только помогать ему этой борьбе – теплом, покоем, вниманием.

Через час раненый забеспокоился.

Сначала чуть заметно задвигались пальцы на руке. Потом дернулась голова, и по лицу пробежала судорога. Анна наклонилась, взяла его за руку:

– Тише, тише. Я здесь. Все хорошо.

Он не слышал. Губы зашевелились, из горла вырвался невнятный звук. Анна придвинулась ближе, пытаясь разобрать слова.

– Нет… – прошептал он. – Не надо… Я сам…

Бред. Обычный бред, какой Анна слышала сотни раз. Раненые в горячке говорили о чем угодно – о доме, о матери, о бое, о том, как бегут по полю под пулями. Но в этом бреде было что-то особенное – напряжение, страх, отчаяние.

– Лида… – выдохнул он вдруг отчетливо. – Лидочка, прости…

Анна вздрогнула. Лида. Женское имя. Жена? Невеста? Сестра?

– Не уходи… – продолжал он. – Не оставляй меня… Я вернусь, я обязательно вернусь…

Он метался, дергал головой, и Анна едва удерживала его, чтобы не дай бог не повредил швы. Сила в нем была нечеловеческая – даже сейчас, на грани смерти, он сопротивлялся, боролся, цеплялся за жизнь.

– Тихо, тихо, – повторяла Анна. – Я здесь. Я никуда не уйду.

Он открыл глаза.

Это было так неожиданно, что Анна отшатнулась. Глаза его – темные, огромные на бледном лице – смотрели на нее с таким напряжением, с такой мукой, что у нее перехватило дыхание.

– Лида… – прошептал он. – Ты пришла… Я знал, что ты придешь…

Анна поняла: он не видит ее. Он видит кого-то другого – ту самую Лиду, которую звал в бреду. Галлюцинация, игра умирающего мозга. Она не стала спорить.

– Да, – сказала она тихо. – Я здесь. Я пришла.

Он улыбнулся. Странная, детская, счастливая улыбка осветила его лицо, сделав его почти прекрасным.

– Я знал… – повторил он. – Я знал, что ты дождешься. Я так боялся, что не успею…

– Ты успел, – сказала Анна. Голос ее звучал ровно, хотя внутри все дрожало. – Ты все успел.

Он сжал ее руку. С такой силой, что Анна едва не вскрикнула – пальцы хрустнули, кости, казалось, сейчас сломаются. Она терпела, не отнимая руки. Понимала: это последнее, за что он цепляется в этом мире.

– Слушай, – сказал он, и голос его стал четким, почти нормальным. – Слушай меня внимательно. У меня мало времени.

– Я слушаю.

– Они не нашли, – выдохнул он. – Все искали, а я спрятал. Так хорошо спрятал, что никто не найдет. Только ты.

– Что спрятал? – спросила Анна, наклоняясь совсем близко.

Он закашлялся. На губах выступила розовая пена. Анна промокнула ее бинтом, приподняла ему голову, чтобы легче было дышать.

– Документы, – прохрипел он. – Список. Там все имена. Все, кто помогал… Кто продал…

– Продал что?

– Янтарную комнату. – Он произнес эти слова с такой ненавистью, что Анна вздрогнула. – Немцам. Когда дворец заняли. Они вывозили, а наши помогали. Указывали, где что лежит. Как выносить. Куда грузить. Получали за это пайки и право жить.

Анна молчала, боясь проронить слово.

– Я все записал, – продолжал он. – Каждую фамилию. Каждое имя. Где кто жил, кем работал, кому помогал. Сорок семь человек. Сорок семь предателей.

– Где это? – спросила Анна. – Где ты спрятал?

Он закрыл глаза. На мгновение Анне показалось, что он уходит, теряет сознание. Но он снова открыл глаза – и взгляд его был ясным, осмысленным, страшным в своей ясности.

– В Пушкине, – сказал он. – Екатерининский дворец. Ты знаешь, где это?

– Нет.

– Под Ленинградом. Царское Село. Там дворец… Большой, красивый. Немцы его разграбили, но стены остались. Личный кабинет директора музея. На втором этаже, окна в парк.

Анна кивала, стараясь запомнить каждое слово.

– Там пол паркетный. Один квадрат отходит. Если нажать – поднимется. Под ним тайник. Неглубоко, просто яма в бетоне. Я туда икону положил. Спаса Нерукотворного. В окладе. А в иконе – список. Вложен между доской и окладом.

– Икона Спаса Нерукотворного, – повторила Анна. – В кабинете директора. Тайник в полу.

– Да. – Он выдохнул с облегчением. – Ты запомнила. Молодец. Я знал, что ты сможешь.

– Но почему я? – вырвалось у Анны. – Почему не своим?

Он усмехнулся. Криво, горько:

– Своим… Свои сейчас кто? Я три года за линией фронта. Не знаю, кто жив, кто мертв, кто предатель. А ты – медсестра. Ты чужая. Ты ни с кем не связана. Тебе можно доверить.

– Но я не смогу… Я здесь, в медсанбате. Я не могу уехать.

– Сможешь, – сказал он твердо. – Когда придет время – сможешь. Ты должна. Ради тех, кто погиб. Ради тех, кто не вернулся. Ради правды.

Он снова закашлялся, и на этот раз кашель был страшным – захлебывающимся, с бульканьем. Анна поняла: начинается агония. Легкие заполнялись кровью, сердце сдавало.

– Лида… – прошептал он, и взгляд его снова стал мутным, блуждающим. – Прости меня… Я не вернусь…

– Ты вернешься, – сказала Анна, хотя знала, что это ложь. – Ты обязательно вернешься.

– Нет… – Он мотал головой, и слезы текли по его щекам – крупные, мужские, страшные слезы. – Я все знаю… Я умираю… Но ты… Ты должна…

Он замолчал. Глаза его смотрели куда-то вдаль, мимо Анны, мимо стен операционной, мимо всего этого мира. Губы шевелились беззвучно.

Анна сжала его руку:

– Я запомню. Я все сделаю. Обещаю тебе.

Он, кажется, услышал. На мгновение взгляд его прояснился, остановился на ее лице. Он улыбнулся – той же детской, счастливой улыбкой, которой улыбался, принимая ее за Лиду.

– Спасибо… – прошептал он. – Ты даже не знаешь… как это важно…

И затих.

Анна сидела, не отпуская его руки. Ждала, когда вернется дыхание, когда дрогнут веки, когда пальцы снова сожмут ее ладонь. Но ничего не происходило.

Он был мертв.

Она не сразу это поняла. Слишком много раз за войну она видела смерть, слишком хорошо знала этот переход – из живого в неживое. Но сейчас, в тишине операционной, при свете керосиновой лампы, смерть пришла так тихо, так незаметно, что потребовалось время, чтобы осознать.

Анна положила его руку на грудь. Закрыла глаза – веки уже начинали холодеть. Перекрестилась.

– Прости, – сказала она. – Мы сделали все, что могли.

Слова были пустыми, формальными. Она произносила их сотни раз, и каждый раз они значили одно и то же: мы проиграли. Смерть выиграла этот бой.

Она посидела еще минуту, глядя на его лицо. Теперь, когда боль ушла, оно было спокойным и красивым. Молодое лицо человека, который не дожил до тридцати. Который три года ходил за линию фронта, рисковал, убивал, выживал – и погиб от случайного осколка уже на своей земле.

В кармане ее халата лежал огрызок химического карандаша. Анна достала его, поискала глазами бумагу. Ничего не было – только старые бинты, только вата, только перевязочный материал.

Она оторвала кусок чистого бинта, разгладила на колене. И записала.

Крупными, неровными буквами, чтобы не забыть, чтобы не перепутать:

Пушкин. Екатерининский дворец. Кабинет директора. 2 этаж. Окна в парк. Тайник в полу (паркет отходит). Икона Спаса Нерукотворного. В окладе – список предателей. Янтарная комната.

Она перечитала, свернула бинт в крошечный квадратик. Спрятала в самый потайной карман телогрейки – тот, что был зашит с внутренней стороны, где хранила материнскую иконку и фотографию брата.

Потом встала, подошла к двери, открыла.

В коридоре было пусто. Только в конце, у палат, маячила фигура санитара. Анна позвала:

– Дядя Вася! Помогите.

Санитар подошел быстро, глянул на стол, на мертвого, крякнул:

– Готов?

– Готов.

– Царство ему небесное. – Дядя Вася перекрестился широко, размашисто, как деревенские. – Красивый парень. Жалко.

– Отнесите в морг, – сказала Анна. – Я потом оформлю.

– Сделаем.

Он взялся за носилки, ловко переложил тело. Анна помогла придержать, поправила простыню, которой прикрыли лицо. Когда носилки двинулись к выходу, она отвернулась.

Не могла смотреть.

Она вышла на крыльцо.

Ночь была холодной, звездной. Мороз щипал щеки, забирался под воротник шинели. Анна достала кисет, свернула цигарку. Руки дрожали, табак сыпался мимо, пришлось делать три попытки, прежде чем получилось закурить.

Глубоко затянулась. Выдохнула дым в черное небо.

В голове крутились его слова. «Сорок семь человек. Сорок семь предателей». Целая армия предателей. Люди, которые жили рядом, улыбались, ходили на работу, а сами помогали врагу вывозить национальное достояние.

Янтарная комната. Анна слышала это название, но смутно. Какая-то диковина из дворцов, о которых писали в газетах. Но для него это было важно. Важнее жизни.

Почему он доверился ей? Почему решил, что именно она, случайная медсестра, должна выполнить его последнюю волю?

Может быть, потому что у нее были глаза, которые смотрели на него не как на «немецкую форму», а как на человека? Может быть, потому что она держала его за руку и не отпускала, когда он умирал?

Она не знала. Но знала другое: теперь это ее тайна. Ее ответственность. И она должна сделать так, чтобы список попал в надежные руки.

Вопрос только – в чьи?

Кравцов? Хороший хирург, хороший человек, но он военный, он обязан доложить начальству.

Тетя Паша? Старая, опытная, прошедшая блокаду. Ей можно верить. Но она тоже подчиняется приказам.

Анна докурила, затушила окурок о перила, спрятала в карман.

И вдруг подумала о Марке.

Марк. Лейтенант из разведки. Ленинградец, историк, человек, который понимает ценность таких вещей. Ему можно довериться. Он не из СМЕРШа, он не обязан никому докладывать. Он просто человек, который…

Который ей нравится.

Анна усмехнулась своим мыслям. До романов ли сейчас? До симпатий ли? Война, смерть, предатели, тайники – и вдруг какое-то глупое, девчоночье «нравится».

Но внутри уже зрело решение. Марк уедет через несколько дней в Ленинград. У него отпуск после ранения. Он сможет проверить. Он сможет найти.

А она даст ему адрес.

Она вернулась в сестринскую. Зина спала, уткнувшись носом в подушку. Тихо похрапывала. Анна разделась, легла на свою койку, укрылась шинелью.

Сон не шел.

Она машинально потянулась к карману, где лежал заветный квадратик бинта. На месте.

Она достала квадратик бинта, развернула, перечитала еще раз. Потом спрятала обратно.

Вечером придет Марк. Возможно, она отдаст ему этот список. Или хотя бы расскажет, где искать.

А пока – работа. Работа, которая не ждет. Раненые, перевязки, уколы, стоны, смерть. Обычный день войны.

Вечером, когда стемнело, Марк пришел.

Они сидели на том же бревне у забора, курили, молчали. Анна чувствовала его тепло плечом, и это тепло согревало лучше любой печки.

– Я уезжаю послезавтра, – сказал Марк. – В Ленинград. На месяц.

– Я знаю.

Они сидели еще долго, глядя на звезды. Где-то ухали пушки, где-то умирали люди, где-то предатели прятали концы в воду. А здесь, в этом маленьком уголке войны, двое людей держались за руки и верили, что правда победит.

Потому что иначе нельзя.

Иначе все, что они делали – операции, перевязки, разведка, риск, – теряло смысл.

И пошла в палаты.

Война продолжалась.

ГЛАВА 5. «ОСОБИСТ» ИЗ НИОТКУДА

Утро. Октябрь 1944 года. Карельский перешеек, медсанбат

Утро после бессонной ночи всегда наступало слишком рано.

Анна только прикрыла глаза, когда по коридору загрохотали сапоги и раздался голос тети Паши – громкий, официальный, каким она говорила только с большим начальством:

– Сюда, товарищ капитан. Операционная у нас здесь, морг в подвале, документы в штабе.

Анна села на койке, прислушалась. Сердце забилось быстрее – тот самый внутренний зверек, который не раз спасал ей жизнь, заскребся изнутри. Капитан. Утром. Слишком быстро.

Она натянула сапоги, накинула халат поверх гимнастерки, в которой спала, и вышла в коридор. И сразу увидела его.

Он стоял у входа в операционную – высокий, подтянутый, с идеально выбритым лицом и холодными глазами, которые, казалось, видели всё и ничему не удивлялись. Форма сидела на нем как влитая – ни складочки, ни пылинки. Сапоги начищены до зеркального блеска. Ремень туго затянут, портупея скрипит при каждом движении.

Капитан Григорий Луговой.

Анна сразу отметила про себя: таких, как он, она встречала в фильтрационном лагере, когда выходила из окружения. Они смотрели на людей не как на людей, а как на материал для допросов. Они умели задавать вопросы и умели ждать ответов. Они были опасны.

– Это наша медсестра, Анна Ветрова, – представила ее тетя Паша. – Она дежурила ночью, была при смерти раненого.

Луговой повернулся к Анне. Взгляд его скользнул по лицу, задержался на секунду, словно сканируя, запоминая. Потом он кивнул – вежливо, даже учтиво:

– Здравствуйте, Анна. Капитан Луговой, особый отдел. Мне нужно задать вам несколько вопросов.

– Здравствуйте, – ответила Анна. Голос ее звучал ровно, хотя внутри все дрожало.

– Пройдемте куда-нибудь, где можно поговорить без лишних ушей.

– В сестринскую, – предложила тетя Паша. – Там Зина спит, но мы ее разбудим.

– Не надо никого будить, – остановил Луговой. – Нам достаточно коридора. Анна, пройдемте.

Они отошли к окну в конце коридора. Здесь было относительно тихо – только редкие шаги санитаров да стоны раненых из палат. Луговой остановился, облокотился о подоконник, глядя на Анну сверху вниз.

– Расскажите, что произошло ночью, – сказал он. Голос у него был спокойный, даже мягкий, но в этой мягкости чувствовалась сталь.

– Привезли раненых, – начала Анна. – Двенадцать человек. Четверо тяжелых. Один – в немецкой форме. Его оперировал Кравцов, наш хирург. Операция длилась около четырех часов.

– Исход?

– Умер. Через час после операции.

– Вы были рядом?

– Да. Кравцов попросил меня остаться с ним. Следить за состоянием.

Луговой кивнул, достал папиросу, закурил. Дым поплыл к окну, тая в утреннем свете.

– Он говорил что-нибудь? – спросил он как бы между прочим.

Анна помедлила секунду. Эту секунду надо было выдержать ровно столько, чтобы не показаться ни слишком быстрой, ни слишком задумчивой.

– Говорил, – ответила она. – Бредил.

– Что именно?

– Звал кого-то. Лиду. Просил прощения. Говорил, что не вернется.

Луговой выпустил дым, прищурился:

– И всё?

– Всё. Он был очень слаб. Я едва слышала.

– Странно, – сказал Луговой задумчиво. – Обычно в бреду люди проговаривают многое. Явки, пароли, имена связных. Вы уверены, что не слышали ничего подобного?

– Я уверена, что слышала только то, что сказала, – ответила Анна твердо.

Луговой посмотрел на нее долгим взглядом. Анна выдержала этот взгляд, не отвела глаз. Она знала: если сейчас дрогнет, если покажет хоть тень страха или вины – пропала. Такие, как Луговой, чувствуют ложь за версту.

– Хорошо, – сказал он наконец. – Допустим. А другие? Кто еще был рядом?

– Кравцов. Тетя Паша. Зина, вторая медсестра. Но они ушли сразу после операции.

– Кравцов – это хирург?

– Да. Иван Сергеевич Кравцов.

– Я поговорю с ним. – Луговой затушил папиросу о подоконник, спрятал окурок в спичечный коробок – привычка человека, который не оставляет следов. – А теперь скажите, Анна, вы обратили внимание на его вещи? На форму, на обмундирование?

– Он был в немецкой форме, – ответила Анна. – Шинель, мундир, сапоги. Все проколото осколками, в крови.

– Документов при нем не было?

– Не заметила. Когда резали одежду, ничего не выпало.

– Обычно разведчики имеют при себе фальшивые документы, – заметил Луговой. – Но этот, видимо, шел налегке. Или успел уничтожить.

Он помолчал, глядя в окно на серое октябрьское небо. Потом повернулся к Анне:

– Вы знаете, кто он был?

– Нет.

– Это был наш человек. Разведчик, заброшенный в немецкий тыл. Три года работал под прикрытием. Три года, – повторил он с нажимом. – И погиб в двадцати километрах от своих. У него могла быть информация. Важная информация. Вы понимаете?

– Понимаю, – ответила Анна.

– Если он что-то сказал – даже обрывок фразы, даже одно слово – вы обязаны сообщить. Это не просто долг. Это дело государственной важности.

– Я понимаю, товарищ капитан. Но он не сказал ничего, кроме бреда про Лиду.

Луговой снова посмотрел на нее. На этот раз взгляд его был тяжелым, давящим, словно он пытался пробуравить ее насквозь.

– Хорошо, – сказал он наконец. – Я проверю. Если выяснится, что вы что-то скрываете… Сами понимаете, чем это грозит.

– Понимаю.

– Вот и славно. – Он вдруг улыбнулся – холодной, официальной улыбкой, которая не коснулась глаз. – Вы свободны, Анна. Если вспомните что-то еще – немедленно свяжитесь со мной. Я буду в соседней деревне, у коменданта.

– Хорошо.

Она повернулась, чтобы уйти, но он остановил ее:

– Постойте. Еще один вопрос.

Анна обернулась.

– Вы из Псковской области, насколько я знаю?

Внутри у нее все оборвалось. Откуда? Откуда он знает?

– Да, – ответила она, стараясь, чтобы голос не дрожал. – Из-под Опочки.

– Оккупация?

– Была.

– Как оказались у своих?

– Вышла с частью. Пробиралась лесами.

– Проверку проходили?

– Да. В фильтрационном лагере под Калинином.

– Чисто?

– Чисто.

Луговой кивнул, словно запоминая. Потом махнул рукой:

– Идите.

Анна пошла по коридору, чувствуя спиной его взгляд. Каждый шаг давался с трудом – ноги стали ватными, в голове шумело. Она заставила себя не ускоряться, не оборачиваться, идти ровно, как ни в чем не бывало.

Только завернув за угол, она прислонилась к стене и перевела дух.

Знал. Он уже знал про нее. Про Псков, про оккупацию, про фильтрационный лагерь. Проверил за ночь. Или у него были люди, которые проверили. Это значило одно: он серьезен. Очень серьезен.

Рука машинально потянулась к карману, где лежал заветный квадратик бинта. На месте. Спрятан глубоко, в потайной карман, зашитый с внутренней стороны телогрейки. Туда, где хранились материнская иконка и фотография брата.

Она пошла дальше, в перевязочную. Надо было работать. Работа – лучшее лекарство от страха.

В перевязочной уже кипела жизнь. Зина металась между двумя столами, успевая обрабатывать сразу троих. Увидев Анну, она выдохнула:

– Анька! Где ты ходишь? Тут зашиваются совсем!

– Иду, – сказала Анна, на ходу закатывая рукава.

Они работали молча, сосредоточенно. Раненые шли один за другим – легкораненые, которых надо было перевязать и отправить обратно в часть, и тяжелые, которых готовили к эвакуации в тыл. Анна шила, мазала йодом, накладывала повязки, и голова постепенно очищалась от страха.

К полудню пришла тетя Паша, отвела Анну в сторону:

– Ну что? Говорил с тобой этот?

– Говорил.

– И чего хотел?

– Спрашивал про того разведчика. Что говорил перед смертью.

– А ты что?

– Что бредил. Звал Лиду.

Тетя Паша покачала головой:

– Правильно. Этим людям лишнего говорить не надо. Они свое дело знают, но… всякие бывают.

– Вы его знаете? – спросила Анна.

– Лугового-то? Слышала. Говорят, крутой. Из молодых, да ранний. В СМЕРШе с сорок второго. Много дел раскрыл. Но и грехов на нем немало.

– Каких грехов?

– А таких. Любит он, говорят, чужими руками жар загребать. Если находит что-то ценное – себе тянет. А если предателя ловит – то не всегда того, кто на самом деле предатель.

Анна помолчала, переваривая услышанное.

– Значит, ему верить нельзя?

– Верить? – Тетя Паша усмехнулась. – Девонька, на войне вообще никому верить нельзя. Кроме себя самой. И еще, может, пары человек, которых судьба проверила.

– А вы? – спросила Анна вдруг. – Вам можно верить?

Тетя Паша посмотрела на нее долгим взглядом. В глазах ее мелькнуло что-то – то ли боль, то ли понимание.

– Мне можно, – сказала она тихо. – Я блокаду пережила. Я таких, как Луговой, насквозь вижу. И я тебе ничего плохого не сделаю. Запомни это.

– Запомню, – сказала Анна.

Они разошлись по своим делам. Но слова тети Паши запали в душу. «Никому нельзя верить». Может, она и права. Может, и ей нельзя верить до конца? Может, и Марку нельзя?

Нет. Марку можно. Анна чувствовала это нутром. Марк – другой. Марк – свой.

Она поймала себя на том, что думает о нем постоянно. О его глазах, о его голосе, о том, как он крутил ворот у колодца, не стесняясь подшучиваний бойцов. О том, как он сказал: «Я вас обязательно свожу в Ленинград».

Глупости. Какие теперь Ленинграды? Война.

Но внутри жила надежда.

После обеда Луговой снова появился в медсанбате.

На этот раз он прошел прямо в палаты, где лежали раненые, привезенные ночью. Анна видела в окошко, как он ходит между койками, останавливается, о чем-то спрашивает. Бойцы отвечали неохотно, отворачивались, прятали глаза. Никто не любил разговоры с особистами.

Потом он зашел к Кравцову. Просидел у него в комнате около часа. О чем они говорили – неизвестно, но когда Кравцов вышел, лицо у него было серое, а руки дрожали – не от усталости, от злости.

– Что он хотел? – спросила Анна, когда они остались вдвоем в операционной.

– Того же, чего и у тебя. – Кравцов закурил, жадно затягиваясь. – Что говорил раненый. Не говорил ли чего важного. Не передавал ли документы.

– И что ты сказал?

– А что я мог сказать? Что он умер на столе, не приходя в сознание. Что я даже не знаю, как его зовут.

– Он поверил?

– Не знаю. – Кравцов покачал головой. – С такими, как Луговой, никогда не знаешь. Он может улыбаться, а сам уже статью на тебя готовить.

– За что? Мы же ничего не сделали.

– За то, что не досмотрели. За то, что дали умереть, не допросив. За то, что вообще живы, – горько усмехнулся Кравцов. – Знаешь, Аня, война – это не только фронт. Это еще и такие, как он. Которые в тылу ловят «врагов народа».

Анна промолчала. Она знала это лучше многих.

Вечером, когда стемнело, пришел Марк.

Они сидели на том же бревне у забора, курили, глядя на звезды. Анна рассказала ему о Луговом.

– Он про меня уже все знает, – сказала она. – Про Псков, про оккупацию, про фильтрационный лагерь. Откуда?

– У них везде глаза и уши, – ответил Марк. – Могут за ночь нарыть. Если он заинтересовался тобой – это плохо.

– Почему?

– Потому что такие не отстают. Если он почувствует, что ты что-то скрываешь, – он будет копать, пока не докопается.

– А если докопается?

Марк помолчал. Потом сказал тихо:

– Тогда тебе будет очень плохо. Ты же из оккупации вышла. Это уже пятно. А если еще и связь с разведчиком, который погиб при невыясненных обстоятельствах… Могут и шпионку пришить.

Анна вздрогнула. Она думала об этом, но когда Марк сказал это вслух, стало по-настоящему страшно.

– Что же делать? – спросила она.

– Ничего, – ответил Марк. – Держаться. Молчать. И если есть что прятать – прятать так, чтоб никто не нашел.

Анна кивнула. Рука машинально коснулась кармана, где лежал квадратик бинта. Марк заметил этот жест.

На следующее утро Луговой уехал.

Анна видела в окно, как его машина – зеленый виллис с красной звездой на капоте – вырулила со двора и скрылась за поворотом. Она выдохнула с облегчением.

Но ненадолго.

Потому что через час пришла телеграмма из штаба: капитану Луговому поручено расследование обстоятельств гибели разведчика. Он будет приезжать в медсанбат регулярно, пока не закончит.

Анна прочитала телеграмму и поняла: это только начало.

Квадратик бинта лежал во внутреннем кармане. И Луговой, если начнет копать, может докопаться до правды.

Она посмотрела на лес, на серое небо, на снег, перемешанный с грязью. Война продолжалась.

Но теперь у нее был враг не только на той стороне фронта. Враг был и здесь, среди своих. И имя ему было – капитан Луговой.

ГЛАВА 6. ВТОРОЕ СВИДАНИЕ

Октябрь 1944 года. Карельский перешеек, медсанбат

Утро после отъезда Лугового выдалось серым и ветреным.

Анна вышла из сестринской с тяжелой головой – ночью почти не спала, все думала о капитане, о его холодных глазах, о том, что он вернется. И о Марке. О том, что Марк уезжает послезавтра. И о том, что она отдала ему список, и теперь этот список – его ответственность, его опасность.

В коридоре было людно – как всегда утром. Санитары тащили носилки, сестры сновали с инструментами, раненые ковыляли в столовую, опираясь на палки и костыли. Анна прошла в перевязочную, где уже суетилась Зина.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.